

К двум ключевым словам этой конференции «диалог» и «культуры» я бы добавила третье — «язык», и по совершенно очевидной причине: кто говорит «диалог», тот говорит «язык». Вокруг этих трех терминов я и построю свое сообщение. Поставленные вместе, эти три слова поднимают множество вопросов. Отмечу только некоторые: какой язык (или языки) и для какого диалога? Мы живем в эру коммуникации, и средства коммуникации как никогда многочисленны и совершенны, но при чем тут диалог? «Диалог культур» предполагает существование нескольких культур, значит, можно говорить о разнообразии культур во время глобализации?

Имея в виду эти три вопроса, я могла бы, как кажется, озаглавить свой доклад: «Культуры и языки без диалога» или «Диалог и языки, но не культура?» Помимо эстетического аспекта, а именно потому, что это звучит хуже, чем выбранное мной «Диалог культур без языка?», такое сочетание слов просто означает, что данное размышление связано с языком. Это объясняется моим личным опытом, положенным в основу доклада: я преподаю русскую литературу в Сорбонне (это касается языка и культуры) франко- и русскоговорящим студентам (студентов, приезжающих из России во Францию учиться, становится все больше — это касается языка и диалога); я перевела на французский большое количество произведений русских авторов и веду в Сорбонне и в Лозаннском университете семинар по художественному переводу (это касается языка, культуры и диалога).

Когда в начале 1920-х годов из России на Париж обрушивается, как ее впоследствии назовут, волна первой русской эмиграции, вызванная октябрьским государственным

¹ Профессор Университета Сорбонна — Париж IV (Франция). Автор работ: «Тщательная расстановка фрагментов истории в “Красном Колесе”» и др. Лауреат премии «Русофония–2008» (Париж) за перевод поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» и премии «Русофония–2009» за перевод романа Бориса Житкова «Виктор Вавич».

Анн Кольдефи-Фокар¹

ДИАЛОГ КУЛЬТУР БЕЗ ЯЗЫКА?

переворотом 1917 года и Гражданской войной, эмигранты чувствуют себя во Франции почти как у себя дома. Это тем более поразительно, если сравнить первую волну со второй (после Второй мировой войны), а может быть, и с третьей (1970-е — начало 1980-х гг.). Вторая волна так плохо приспосабливается к Парижу и шире — к Европе, что те, кто ее составляет, не замедлят уехать в США или Латинскую Америку. Третья волна — по крайней мере те, кто поселился во Франции, — малочисленная и состоит из диссидентов: писателей, художников и интеллигенции, то есть из деятелей культуры. Как объяснить то, что они поспешат вернуться в Россию, как только смогут, в 1990-е годы, тогда как многие их предшественники, приехавшие на Запад в 1920-х годах, уже давно стали «французами русского происхождения»?

Здесь значение языка бесспорно: русские эмигранты первой волны прекрасно говорят по-французски уже не в одном поколении. Эмигранты третьей волны обычно совсем не владеют этим языком. Более того, эмигранты первой волны являются носителями двух культур: русской и французской (и даже шире — европейской). В их случае речь даже не идет о «диалоге культур», они воплощают в себе несколько культур. Само собой разумеется, что это не решает проблему эмиграции и «тоски по родине». Известно, что некоторые эмигранты первой волны вернулись в Россию — на свое несчастье — уже в 1930-е годы, так и не сумев вынести разлуки с родиной. Эмиграция остается эмиграцией, но свободное обращение с языком и культурой принимающей страны сильно облегчает жизнь.

Третья волна эмиграции представляет советскую культуру — культуру очень интересную, которая, как мне кажется, сегодня недостаточно изучается и совершенна чужда, хотим мы этого или нет, и идеологически противоположна современной ей западной культуре (западноевропейской и американской). Эта культура опирается к тому же на «осовеченный» язык, советский идеологизированный

язык, во многих отношениях искусственно построенный и навязанный сверху.

Этот язык, а я знаю это по опыту, непередадим ни на какие человеческие языки. Жаль, что у меня нет возможности привести множество примеров. Ограничусь упоминанием такого советского «языкового факта», появившегося сразу после революции, как сокращения. Все современные языки изобилуют сокращениями: чем больше ускоряется жизнь, тем короче становятся слова, как будто у нас нет времени произнести их полностью. Но советские сокращения являются особым случаем: они возникают раньше, чем в остальном мире. Их несравнимо больше и цель их — «лишить жизнь конкретности», сделать ее абстрактной. Александр Зиновьев замечательно обыграл это явление в своих произведениях.

Однако о каком диалоге культур и даже просто о каком диалоге можно говорить, если речь идет, например, о понятии «жилплощадь»? Можно, конечно же, перевести этот термин на французский как *surface habitable*, но зато невозможно перевести его на французский как аббревиатуру типа *surfhabit* или *habit'surface*. Это звучало бы чудовищно. И даже без сокращений как выражение *surface habitable* позволит по-настоящему понять французам, что скрывается за понятием «жилплощадь»? Мне возразят, что мы здесь затрагиваем сферу «быта». Но этот «быт» разве не составная часть культуры?

Таким образом, советский язык изобилует словами, которые можно перевести на другие языки только методом «кальки», что делает их тем более непонятными. Горбачевская «святая троица» «перестройка, гласность, ускорение» — еще один недавний пример. Сначала эти три термина переводились на французский как *restructuration*, *transparence*, *accélération*. Но вскоре было замечено, что «перестройка» это не *restructuration*, а «гласность» уж никак не *transparence*. Следовательно, в конце концов, их просто транскрибировали и французы научились ими пользоваться, но это не означает, что они их понимают. Что касается «ускорения», единственного слова, которое имело во французском переводе какой-то смысл, то оно благополучно исчезло.

После всех потрясений конца XX века мир сегодня столкнулся с небывалой ситуацией, которую можно назвать термином «глобализация». В терминах культуры (опять же схематично) глобализация означает: все индивиды должны иметь возможность понимать друг друга во всех уголках Земли. Но для этого необходимо, чтобы у них был одинаковый образ жизни и мышления.

Фактически это неизбежно означает политический консенсус, экономическую и государственную модели, применимые ко всем, и, следовательно, униформизацию и упрощение культур.

На уровне слов это выражается в появлении «общего» языка: мы знаем о влиянии и экспансии англо-американского языка, у которого все больше выражается тенденция к самоупрощению, не говоря уже о том, что другие языки беспрестанно подражают ему и заимствуют его лексику.

Русский язык всегда много заимствовал из иностранных: морские термины — из голландского, военные — из немецкого, названия чинов — из немецкого при Петре Великом, философские понятия — из немецкого и французского, литературные понятия — из французского в конце XVIII — начале XIX века. Но тем не менее русский язык всегда старался сохранить (иногда «подспудно») свое глубинное богатство. Более того, эти преобразованные и присвоенные заимствования стали его дополнительным богатством. Следовательно, если настоящий диалог культур возможен, то только за счет такого взаимного обогащения. Оставаясь в области лингвистического обмена, приведу пример таких терминов, как «нигилизм», который на ос-

нове латыни (языка, общего для Европы) был придуман самым европейским из русских, я имею в виду И. С. Тургенева, и только потом был позаимствован другими языками мира. То же самое произошло и с термином «интеллигенция», также имеющим латинское происхождение, который, будучи русифицированным благодаря своему суффиксу, тоже облетел всю планету (отметим, однако, что этот термин не означает в точности одно и то же по-русски и по-французски, например).

Наряду со многими другими языками с 1990-х годов русский многое заимствовал из англо-американского, в частности в области экономики, финансов и отчасти — политики и дипломатии. Помню, как в русской прессе появились слова типа мерчандайзинг (или чего-то подобного), которые приходилось читать вслух, чтобы понять, что за ними кроется, и которые неизбежно вызывали у читателя вопрос: «Что это за зверь?»

Тем не менее можно допустить, что в области техники этот упрощенный «международный язык» удобнее, так как позволяет узким специалистам всех стран понимать друг друга почти мгновенно. Язык информатики принадлежит к этой же категории. Но здесь речь идет именно о «речи», а не о «языке» со всем его богатством и исторической и человеческой сложностью.

Зато в сфере философии и идеологии общий язык глобализации не так уж облегчает понимание и *a fortiori* ведение диалога. Так, например, нет никакой уверенности, что понятие «глобальный», выраженное словами *démocratie*, *démocratie*, «демократия» (которые по сути являются одним и тем же термином, украшенным небольшими «местными» фиоритурами), означает одно и то же и одинаково для всех. Напомним, что в 1917-м и в последующие годы новые идеологические понятия, навязанные России, были столь чуждыми огромному большинству населения, что слова (иностранного происхождения с непонятными корнями) систематически искажались. Об этом свидетельствуют многочисленные писатели и мемуаристы: «революция» превращалась в «леворуцию», «социализм» — в «суцилизм» и т. д. Это явление не было новым. В 1825 году, когда аристократы декабристы на Сенатской площади заставляли своих солдат кричать: «За Константина и Конституцию!», те были уверены, что таинственная «Конституция» — супруга Константина.

Сегодня можно позволить себе рассмеяться или улыбнуться этому невежеству. И напрасно. Ничто на самом деле не указывает, что мы на «глобальном» уровне не находимся в том же процессе аккультурации. Пессимисты, которые, как известно, являются хорошо осведомленными оптимистами, даже скажут, что все признаки указывают на обратное.

Кажется, что Европейский Союз занял мудрую позицию в отношении культур и диалога между ними, отказавшись — в большинстве дискуссий — использовать общий язык, при случае — английский, когда однажды об этом зашла речь. Все языки всех стран сообщества имеют, следовательно, право гражданства, в Брюсселе и в Страсбурге все одинаково переводится на все официальные языки.

Теоретически можно поздравить себя с таким положением дел. Однако практика менее блестяща, так как, несмотря на видимое равенство языков и культур, на заявленное приятие их разнообразия, мы, кажется, являемся свидетелями другой формы «глобализации» и «уровнировки». Причина этого явно кроется в том, что существуют доминирующие идеи, которые навязываются — или которые пытаются нам навязать — средствами перевода. Короче говоря, рассуждают в обратном порядке: вместо того, чтобы отгаликиваться от многочисленных языков и культур, существующих в Европе, и от общих культурных точек отсчета, хотят искусственно создать единство,

которое не жидется ни на чем реальном. В результате получилась дорогостоящая, трудно управляемая и неэффективная организация. Действительно, достаточно побывать в некоторых странах сообщества (в частности, в бывших странах Варшавского договора, недавно интегрированных в Европейский Союз), чтобы отметить сильные диспропорции и заметить, что грани этой пресловутой «европейской культуры» фактически рассматриваются как некая пренебрежимо малая величина. Парадоксально, но Европа до начала Первой мировой войны представляла собой гораздо большее культурное единство, основанное на двух общих элементах: крестьянских и христианских традициях. Так, польские, французские и другие крестьяне, не зная языка своих европейских соседей, понимали друг друга благодаря образу жизни и культуре, схожих в своей основе, как об этом свидетельствует захватывающий роман «Крестьяне» польского писателя Ладисласа Реймонта, лауреата Нобелевской премии по литературе.

Сегодня такой Европы уже не существует; она прилагает все усилия — и тщетно — создать союз, но диалог культур в нем подчас выглядит как разговор глухих.

Снова, в который раз в истории, мы возвращаемся к извечному вопросу «Что делать?». Никакой подлинный диалог культур невозможен, пока представители разных культур не попытаются по-настоящему понять и уважать друг друга. Это работа на долгие годы, подразумевающая глубокое познание Другого. И нет сомнений, что в этом большую роль должны сыграть университеты. Нет сомнения также и в том, что есть множество препятствий тому, поскольку, повторимся, «глобальная» тенденция — это тенденция к схематизации и поверхностности.

Вопрос «Что делать?» влечет за собой со всей очевидностью столь же извечный вопрос «Кто виноват?». Вина, несомненно, отчасти «глобальная»: повсюду мы уступаем поверхностности. Но только отчасти. Снова в истории оживает мечта — утопия, построенная на более или менее благовидных и признаваемых мотивах, — о модели, подходящей для всей планеты, как будто не усвоены уроки предыдущих периодов. Университетским преподавателям в особенности следует выступать против подобных бесплодных проектов и защищать культуры и языки, иными словами — людей.